

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА А. Л. ШЛЁЦЕРА

Елена Михайловна Михина

Французский ежегодник 1986

М.: Наука. 198. С.131-149

Веб-публикация: **Vive Liberta**, 2013

Тематически связанные материалы:

Перцев В.Н. Очерк истории Германии XVIII века

Мошковская Ю.Я. Мироззрение немецкого революционера XVIII в.
Георга Форстера

Волгина Е.И. Идеологическая борьба в немецкой публицистике
периода Великой французской революции

Искюль С.И. Революция в освещении
Геттингенского «Revolutions—Almanach»

Нойч Э. Форстер в Париже

Август Людвиг Шлёцер (1735—1809) известен нашему читателю в основном благодаря своему вкладу в создание исторической науки в России. Известно, что он провел несколько лет на русской службе, изучал и начал публиковать летописи, а затем, уже на склоне дней, увенчал эти занятия грандиозным «Нестором» — многотомным комментарием к начальной русской летописи.

Однако творческая биография ученого русской темой далеко не исчерпывается. Шлёцер вел в Геттингенском университете, с которым связана его жизнь после возвращения из России, разнообразнейшие курсы по истории народов Европы, Азии, Америки, курс «универсальной истории», популярный в свое время «политический» курс. Он теоретически разрабатывал и преподавал статистику и государственное право. Помимо этого, он был широко известен в Германии и за ее пределами как издатель общественно-политического журнала, который, по выражению Н. Г. Чернышевского, «был грозой всех беззаконников, терзавших Германию»¹.

Любопытно, что в Германии и позднее, в XIX в., Шлёцера больше помнили как публициста-просветителя, а не профессионального историка. Даже и теперь два образа Шлёцера — историка и публициста — совместились не вполне. Они и окрашены по-разному: Шлёцера-историка чаще изображают консерватором, публицисту же приписывают более радикальные, иногда даже демократические убеждения. Исследователь из ГДР Ш. Волле замечает, что после знакомства со всей литературой о Шлёцере остается впечатление, будто речь идет о двух разных людях. Истоки сохраняющегося поныне «раздвоения личности» Шлёцера Волле обнаруживает в общественно-политической ситуации в Германии XIX в., где для писателей демократического лагеря была значима прежде всего деятельность Шлёцера-публициста, борца с деспотизмом, в то время как его русские сюжеты привлекали внимание писателей противоположного лагеря — в силу той реакционной роли, какую играла в судьбах Европы тогдашняя официальная Россия².

¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1948. Т. 4. С. 69.

² Wolle S. A. L. von Schlözers Nestor Edition (1802—1809) im geistigen und politischen Umfeld des beginnenden 19. Jahrhunderts // Jahrbuch für Geschichte der sozialistischen Länder Europas. B., 1982. Bd. 25/2. S. 139, 140.

Это глубокое и во многом справедливое наблюдение, по следует отметить, что и оценки публицистики Шлёцера достаточно разноречивы — от констатации ее несомненной консервативности до вывода о ее революционной направленности³. Рассматривают Шлёцера и как предшественника либерализма: такая точка зрения преобладает в западногерманской историографии⁴.

Столь же различными были отзывы о Шлёцере при его жизни. Наибольшего контраста они достигли как раз в годы французской революции, когда, с одной стороны, многие ее сторонники клеймили Шлёцера за отречение от революции, а с другой — все упорнее циркулировали слухи о его «санкюлотизме», пока наконец его журнал не был запрещен в начале 1794 г.

Надо признать, что и тому, и другому взгляду можно найти подтверждение в текстах Шлёцера, т. е. обнаружить в них то, что мы привычно отождествляем с консерватизмом или с революционностью. В результате нетрудно сделать вывод о противоречивости его взглядов. Но знакомство со всем комплексом его произведений показывает, что в своих взглядах он был последователен, может быть, даже излишне, ибо почти не был поколеблен в них бурными и трагическими событиями своего времени. Открывается при этом и другое: тесная, органическая связь в его творчестве истории, политики и публицистики.

В литературе, особенно историками, нередко высказывалось мнение, что занятия публицистикой, политикой, государственным правом были для Шлёцера случайными, побочными, отвлекали его внимание от серьезных научных изысканий⁵. Это мнение неверно. Шлёцер никогда не был чистым «древником», всегда пристально и, можно сказать, профессионально интересуясь современностью. Такое умонастроение было во многом предопределено учебой в пронизанном просветительскими веяниями Геттингенском университете (где, по воспоминаниям Шлёцера, «было принято привносить в древности политику»⁶), а затем закреплено в годы пребывания его в Швеции, когда он наряду с занятиями древнеготскими источниками с увлечением следил за активной деятельностью риксдага и изучал новые тогда методы демографической статистики. В России Шлёцер также стремится участвовать в реформах Екатерины II, включается в организацию госу-

дарственной статистики. Характерно, что, когда Шлёцер предлагал Петербургской Академии наук два своих плана: первый — научная разработка летописей и второй — издание книг для народа по русской истории, географии и статистике (то, что он называл «отчизноведением»), то второй план был для него «почти дороже, чем первый»⁷.

Еще будучи в Швеции, Шлёцер предпринял попытку издания журнала, который знакомил бы немецкого читателя с научной жизнью Швеции. В России он издает на немецком языке два тома законодательных, исторических и статистических материалов под названием «Вновь преобразенная Россия» и еще два тома приложений к ним⁸. Были подготовлены (но остались неопубликованными) и следующие выпуски. Очевидно, что и это издание замышлялось как продолжающееся или выросло в таковое. Оно уже близко по замыслу будущему журналу Шлёцера (см. особенно в первом томе приложений программную статью о русской статистике).

Таким образом, когда впоследствии в Геттингене Шлёцер одновременно занимался историей, статистикой и журналистикой, — это вовсе не было простым стечением обстоятельств. Очевидно, что это триединство было для него существенным, программным. Что же за ним стояло? Ключевым здесь, по-видимому, является понимание статистики — науки, по современным представлениям, вспомогательной. Для Шлёцера же это своего рода зеркало человеческой истории. Необычно для нас его стремление статистически представить не только современное состояние отдельных стран и всего мира, но и прошлое, в том числе далекое: «Статистика невозможна безо всей древней истории»⁹. Статистика и история — два основных способа рассмотрения общества: «Статистика — это остановленная на миг история, история — движущаяся статистика»¹⁰.

Еще более неожиданно для нас звучит следующий известный афоризм Шлёцера: «Статистика и деспотизм несовместимы»¹¹. Деспотизм по самой природе своей не допускает изучения современных и исторических обстоятельств, т. е. уяснения людьми действительного положения дел¹². Ибо он способен держаться

³ Ср.: *Reyman H.* Основные течения в немецкой литературе, 1750—1848. М., 1959. С. 89—90; *Mühlpfordt G.* Völkergeschichte statt Fürstenhistorie — Schlözer als Begründer der kritisch-ethnischen Geschichtsschreibung // *Jahrbuch für Geschichte.* В., 1982. Bd. 25. S. 64.

⁴ *Valjavec F.* Die Entstehung der politischen Strömungen in Deutschland, 1770—1815. München, 1951. Из более новых работ см.: *Warlich B. A. L.* von Schlözer zwischen Reform und Revolution. Nürnberg, 1972; *Becher U. A. J.* Politische Gesellschaft. Göttingen, 1978. S. 129—205.

⁵ См., напр., отзыв Б. Нибура: «Он мог бы оказать великие услуги истории... если бы под конец не опустился и не обленился, вдавшись в несчастную полипрагматию, в которой запутался» (цит. по: *Beber B. G.* Историографические проблемы. М., 1974. С. 23—24).

⁶ Цит. по: *Schlözer Ch.* August Ludwig von Schlözers öffentliches und Privatleben. Leipzig, 1828. Bd. 1. S. 22.

⁷ *Общественная и частная жизнь А. Л. Шлёцера, им самим описанная* // Сб. отд. рус. яз. и словесности имп. АН. СПб., 1875. Т. 13. С. 190.

⁸ *Haigold M. J. J.* Neuverändertes Russland, oder Leben Catharina der Zweyten aus authentischen Nachrichten beschrieben. Riga; Leipzig, 1767, 1772. Th. 1, 2; *Idem.* Beilagen zum Neuveränderten Russland. Riga; Mitau, 1769; Riga; Leipzig, 1770. Th. 1, 2. Хайгольд — псевдоним Шлёцера (фамилия его деда).

⁹ *Haigold M. J. J.* Neuverändertes Russland. Bd. 1. S. Vorrede.

¹⁰ *Schlözer A. L.* Theorie der Statistik. Göttingen, 1804. S. 86.

¹¹ *Общественная и частная жизнь...* С. 120.

¹² Шлёцер впервые отчетливо осознал это, пытаясь собирать статистические сведения в России. «*Общественная робость*, — вспоминал он впоследствии, — была велика до невероятности и страха печати поистине ребяческой. Почти все, что касалось государства или правительства, считалось государственною тайною; об этом можно было говорить только в дру-

только всеобщим невежеством — и деспота, и подданных. Поэтому важна не только статистика сама по себе, т. е. определение действительного положения вещей, но и возможность публичного обсуждения этого положения.

Открытость для общества обстоятельств его жизни, «извлеченных из темноты тайных сговоров и кабинетов», Шлёцер называл «публичностью» (Publizität) и считал важнейшим качеством общественной жизни. Отсюда, очевидно, и мысль об издании журнала как собственным вкладом в «публичность».

Для Германии второй половины XVIII в. «толстые» ежемесячные научные журналы весьма типичны (для первой половины века характерны были еженедельные нравоучительные издания). Однако журнал Шлёцера нельзя тем не менее считать явлением заурядным — ни по длительности существования (почти 20 лет — с 1775 по 1793 г.), ни по той популярности, которой он пользовался. Тираж его достигал иногда очень большой цифры для того времени и для серьезного, «ученого», достаточно дорогого журнала — 1400 экземпляров. Предполагают, что журнал читали регулярно более 3 тыс. человек, в том числе за пределами Германии¹³.

Выросший из переписки, при помощи которой Шлёцер собирал статистические сведения, журнал первоначально так и назывался — «Переписка в основном исторического и политического (в первом выпуске — статистического. — Е. М.) содержания». В 1782 г. после серьезных гонений Шлёцер поменял название, «Переписка» стала выходить как «Государственные ведомости»¹⁴.

Каков характер журнала? Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что Шлёцеру ближе всего роль летописца своего времени (недаром и как историка его привлекла фигура Нестора). Однако летописца XVIII в., которому не пристало просто излагать историю: на наших глазах он воссоздает ее из источников. Сам он писал в журнал редко, оставаясь в основном собирателем и комментатором. Его задача — зафиксировать факты, осмысливание которых он предоставлял читателям — современникам и по-

жеской беседе, но избави бог публично. До тех пор даже не было напечатано ни одной древней летописи, потому что там местами рассказываются позорные дела великих князей...» Интересно, как Шлёцер объясняет такое состояние общества. «И не могло быть иначе, — продолжает он. — Страшная тайная канцелярия, которая со всеми своими ужасами существовала, со времен царя Алексея, более ста лет, необходимо должна была притупить нацию». И хотя Петр III уничтожил тайную канцелярию, «однако тому, кто долго был оглушен ужасом, нужно время для отдыха еще после того, когда вся опасность миновалась» (Там же. С. 271).

¹³ Warlich B. Op. cit. S. 94.

¹⁴ Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts. Göttingen, 1775—1781; Staatsanzeigen. Göttingen, 1782—1793. Выходил журнал четырьмя выпусками в год, без строгой периодичности, затем брошюровался в тома по годам и продавался томами. В томе, как правило, 400—500 страниц. Трижды, к каждому 24 выпуску, Шлёцер издал подробные указатели.

томкам. Шлёцер не раз возвращается к той мысли, что факт, не будучи извлечен на свет «публичности», исчезает, растворяется в небытии, а вернее, так и не становится фактом. Задача публициста и ученого — довести текущие явления действительности, смысл которых неясен даже непосредственным участникам событий, до статуса непреложных фактов.

Собственную позицию Шлёцер обнаруживает обычно «на полях» — в иронических замечаниях, вопросах, неожиданных сопоставлениях. Там и сям мелькают краткие, как правило, комментарии, подписанные литерой «S». Иногда материал подается без комментариев, зато меткая характеристика, острое слово вдруг прорвутся в оглавлении, порой даже в указателе.

Журнал пестрит таблицами — цены, валютные курсы, численность населения. Много государственных актов, как правило, на языке оригинала. Думается, весь этот материал еще ждет своего исследователя¹⁵. Широко пользуясь «живыми» корреспонденциями, Шлёцер извлекал также факты из прессы, немецкой и зарубежной, малоизвестных, полузабытых изданий. Интересуют Шлёцера и факты событийного, так сказать, характера. В связи с этим публикуются мемуары, свидетельские показания. Один из выпусков, например, посвящен обстоятельствам смерти шведского короля Карла XII.

Корреспондентами Шлёцера были ученые, государственные чиновники, иногда весьма крупные, офицеры, священнослужители, предприниматели. Иногда с их помощью удавалось получить тщательно скрывавшиеся факты и документы: так, в 1791 г. было опубликовано сохранявшееся в тайне завещание Фридриха II прусского (1769 г.)¹⁶.

В журнале много анонимных материалов: «прислано из Франции тогда-то», «из одной голландской рукописи» и т. п. С самого начала, приглашая сотрудничать в журнале, Шлёцер объявил, что гарантирует корреспондентам сохранение тайны имени (но сам должен знать его, чтобы быть уверенным в достоверности сообщаемого). Это обещание относилось, понятно, к единомышленникам. Анонимные письма своих противников, которых со временем становилось все больше, он иногда также публиковал. Не принадлежат ли некоторые «анонимные» заметки самому Шлёцеру — вопрос открытый.

¹⁵ Журнал изучен пока явно недостаточно. Существует одна специально посвященная ему диссертация: Zelger R. Der historisch-politische Briefwechsel und die Staatsanzeigen A. L. von Schözers als Zeitschrift und Zeitbild. München, 1953 (мне недоступна). Seriously проанализированы материалы журнала в упоминавшейся книге У. Бехер. Но из журнала можно извлечь не только данные о взглядах и деятельности издателя, но и многочисленные сведения об экономике, дипломатической и политической истории Германии и других стран Европы, Америки, отчасти даже Азии, т. е. возможно использовать журнал согласно замыслу Шлёцера.

¹⁶ Staatsanzeigen. Göttingen, 1791. Bd. 16. S. 450—456. В дальнейшем ссылки на журнал даются в тексте, с указанием тома и страницы.

Бывали случаи, когда тайна имени корреспондента раскрывалась помимо Шлёцера. В 1781 г. произошел трагический эпизод: в Цюрихе по обвинению в государственной измене был казнен священник, сообщивший Шлёцеру факты о злоупотреблениях городской верхушки общественными фондами.

Для собирания статистических материалов Шлёцер планировал специальные путешествия. Первое было совершенно во Францию зимой 1773/74 г. Через Страсбург и Нанси Шлёцер добрался до Парижа, где прожил полтора месяца. Это были последние месяцы царствования Людовика XV. По словам Шлёцера, он слышал вокруг себя «громкие вздохи и проклятия угнетенной нации»¹⁷.

В Париже Шлёцер не сразу нашел людей, сочувствовавших его намерению статистически изучать Францию. «Никто не понимает хорошенько, чего я, собственно, хочу; объяснить же отчетливее я не решаюсь, иначе полиция наверняка сочтет меня шпионом»¹⁸. Однако скоро все изменилось. Шлёцер был принят в несколько салонов, познакомился с Даламбером, Мабли (Дидро в ту зиму находился в Петербурге), историками Ж.-Б. Виллазоном и Ж. Дегинем. Последние два — будущие корреспонденты его журнала. Еще более важным для будущего оказалось другое знакомство — с Х. Ф. Пфеффелем, эльзасцем по происхождению, историком и правоведом, советником Людовика XV (в недалеком будущем — Людовика XVI), «живым архивом» — по отзыву одного из министров¹⁹.

Журнал начал выходить вскоре по возвращении Шлёцера из Парижа. Материалам о Франции отводилось в нем много места. Постоянной стала рубрика «Письма из Версаля», печатавшиеся анонимно. В первых выпусках «Письма» подробно сообщали о борьбе вокруг реформ Тюрго.

Через некоторое время в журнале появились корреспонденции, подписанные неким «австрийцем». Теперь известно, что под этим именем скрывался Х. Ф. Пфеффель. Корреспонденции его посвящены в основном экономике Франции — мануфактурам, земледелию, торговле, вооруженным силам, размерам государственных доходов, долга и бюджетного дефицита. В предреволюционные годы его позиция такова: положение страны не столь тяжело, как представляют себе физиократы, эти «философские реформаторы», готовые «срубить с трудом выращенное и плодоносящее дерево, чтобы уничтожить несколько гусениц» (IX, 153). Спорит он и с немецкими физиократами, каковыми считает издателей гамбургского «Политического журнала»; на протяжении 1786—1787 гг. идет полемика с ними по конкретным статистическим показателям. Однако, не соглашаясь с «экономистами» в оценке положения Франции, «австриец» отдает им должное:

¹⁷ Общественная и частная жизнь... С. 32.

¹⁸ Из письма жене. Цит. по: *Schlözer Ch. Op. cit.* S. 228.

¹⁹ См. о нем: *Stöber A. Chr. Fr. Pfeffel, der Historiker und Diplomat.* Mühlhausen, 1859.

«Хотя, видя столь жалкое состояние сельского хозяйства, они сетовали слишком громко, их отчаяние было необходимо, чтобы разбудить нацию ото сна» (XII, 144).

Общественную позицию «австрийца» можно подытожить так: необходимо и возможно вернуть разумность существующим политическим формам. Наиболее подходящей фигурой реформатора представляется ему Неккер. Шлёцер, по всей вероятности, близок к позиции «австрийца», которого он называет «своим великим учителем в государственной статистике Франции» (XI, 155).

Накануне революции тон сообщений из Франции весьма оптимистичен. Так, автор корреспонденции о заключительном заседании ассамблеи нотаблей в мае 1787 г. уверен в доброй воле короля и надеется на благоразумие аристократии. В ближайшем будущем, по его мнению, предстоит отмена внутренних пошлин, введение свободы хлебной торговли, главное же — созыв провинциальных собраний: этот «великий патриотический план короля, не реализованный Тюрго и Неккером, теперь осуществляется при поддержке всей нации» (XI, 60).

Особенно оптимистичными становятся сообщения осенью 1788 г., после официального согласия короля на созыв Генеральных штатов и назначения Неккера генеральным контролером. В декабре 1788 г. Шлёцер перепечатывает из французской прессы обращение некоего маркиза к Неккеру, отмечая в нем следующие слова: «Вас вернуло на этот пост общественное настроение». Шлёцер комментирует: «Есть ли еще в истории примеры, чтобы двор, долгие годы считавшийся деспотическим, проявил такую уступчивость общественному мнению? Какая честь для Людовика XVI! И какое высокое доказательство просвещенности французской нации и ее превосходства над предрассудками почти всех ее современников!» (XII, 384).

Зимой 1789 г. такое настроение сохраняется. Шлёцер публикует два частных письма из Парижа в Германию, написанных в январе. «Человечество, — говорится в одном из них, — готово сорвать во Франции сладчайшие плоды философии, нация готова снова вступить в свои естественные права; общественное мнение уже отвоевало их обратно» (XII, 503). «Все происходит без насилия, — говорится в другом, — разум свободно спорит с заблуждением, и каждый день отмечен его мирным триумфом». Этот разум персонифицируется в Неккере. «Неккер, — читаем далее, — еще более велик, чем сама революция, ибо он над ней доминирует» (XII, 497).

Следует подчеркнуть, что «революцию» Шлёцер и его корреспонденты в 1788 — начале 1789 г. понимают как разумное преобразование общества. Единогласие всей нации в вопросе о необходимости преобразований предшествует такой «революции», является ее условием и даже началом ее самой.

Протесты же Парижского парламента, вообще «дворянские бунты» лета 1788 г. не находят у корреспондентов Шлёцера

никакого одобрения. «Австриец» называет их «великой трагикомедией» (XIII, 216). Оппозицию парламента попыткам реформ Шлёцер рассматривает как нежелание дворянства разделить с нацией бремя расходов. В июне 1789 г. публикуется большая корреспонденция «австрийца» о французских парламентах. Он опровергает мнение «Политического журнала», будто Парижский парламент представляет французскую нацию. «Публику,— утверждает он,— вводит в заблуждение название французских парламентов; в отличие от английского они представляют интересы не нации, а только своего сословия» (XIII, 223 и след.).

Шлёцер уверен, что и будущие Генеральные штаты знать постарается превратить в свое послушное орудие, возродив их в старинной форме начала XVII в. В одном письме из Парижа описывается собрание нотаблей в ноябре 1788 г.: напрасно, пишет корреспондент, Неккер объяснял нотаблям, что важно не то, как раньше была представлена нация в Генеральных штатах, а то, как это будет в 1789 г.,— нотабли проголосовали за форму представительства 1614 г. «И Парижский парламент вотировал это!» — восклицает Шлёцер.— Ибо для него существенно только то, что тогда в штатах «доминировала знать и магистратура» (XII, 495).

Для Шлёцера Парижский парламент — символ косности и своекорыстия французского дворянства, которое, по его мнению, не просвещено, ведь просвещенность он понимает как способность осознавать не только свои узкие, но и общие интересы. «Предстоящее преобразование государства, надо надеяться, позволит просвещению охватить также высшую знать и духовенство» (XII, 443).

Со страниц журнала, особенно уже после открытия Генеральных штатов, звучали и другие, тревожные голоса. Вот «устные сообщения одного француза, покинувшего Париж в начале июня». Главная причина «раздраженного состояния нации,— считает он,— злополучное просвещение, замысленное Вольтером и Дидро и пущенное в ход нашими глупыми экономистами... Безверие во всех сословиях; аморальность; преклонение перед английской конституцией; поразительное невежество массы и еще более вредная полуобразованность наших физиократов. Графомания наших юных софистов; пребывание многих офицеров в Филадельфии в Североамериканских свободных штатах, перед формой правления которых они слепо преклоняются; амбиция наших ораторов...— вот несчастные силы, дающие нации импульс, действия которого мы ожидаем со страхом» (XIII, 257—258).

В сентябрьском номере журнала Шлёцер сообщает о 14 июля (XIII, 340 и след.). Тон его отнюдь не восторженный. Штурм Бастилии — трагического следствие упорного нежелания дворянства и последовавшего за ним короля присоединиться к «решениям нации» (Шлёцер имеет в виду решение депутатов третьего сословия объявить себя Национальным собранием, принятое 17 июня). Вместо того чтобы «объединиться с нацией, т. е. под-

чиниться ее по видимости мятежным представителям», дворянство подало 21 июня королю петицию, которую «можно рассматривать как косвенное ему полномочие от знати применить силу против третьего сословия». Поведение дворянства Шлёцер считает «главной причиной последовавшей затем великой революции» (XIII, 533). «12 июля узнали об отставке Неккера. Король и его новые министры были непреклонны: тогда 14 июля парижская чернь взяла штурмом Бастилию, и все деспоты раболепствовали или бежали...»

Замечательна следующая прямо за этим сообщением корреспонденция, помеченная 15 сентября, присланная, как сказано, неизвестным лицом из Германии (XIII, 344 и след.). Она начинается так: «Франция подает великий пример того, на что способен народ, когда силы правительства слабеют и их хватает только на то, чтобы заставить народ почувствовать тяжесть угнетения. И, хотя немецкое государственное устройство предохраняет нас от таких *оков* и такого *восстания*, это событие должно теперь всегда учитываться правителями, ибо только счастливый народ любит своего владыку и свое государственное устройство...» Заметка направлена конкретно против крупнейших монастырей в католических государствах Германии. «Быть может, среди всех статей новой французской конституции,— заявляет автор,— нет более справедливой, чем та, которая объявляет имущество духовенства собственностью нации...» (XIII, 345).

Эта корреспонденция вызвала ярость католического духовенства. В декабрьском выпуске журнала Шлёцер публикует письмо анонимного автора, по-видимому лица духовного, обвиняющего издателя в подстрекательстве (XIII, 465—486). Шлёцер сопровождает письмо необычно большим для него, страстно написанным комментарием, который привлек к себе внимание всей читающей Германии.

Впрочем, основному вопросу полемики — секуляризации церковного имущества — Шлёцер не уделяет особого внимания. Его комментарий посвящен утверждению всемирного значения французской революции. Корреспонденту, начинающему с того, что ему неясна связь событий во Франции с бытом немецких монастырей, Шлёцер отвечает: «Мне это совершенно ясно. События наших дней во Франции — урок для всех угнетателей, во всех странах мира, среди всех сословий... Одна из величайших наций мира, первая во всеобщей культуре, сбрасывает наконец ярмо тирания, которое она трагикомически несла в течение полутора столетий... Французы действительно совершили 14 июля героические дела — кто станет отрицать это? Смотри хотя бы письма Кампе»²⁰. «Революция,— продолжает Шлёцер,— сопровождалась эксцессами. Возможна ли революция без эксцессов? Раковые язвы не лечат розовой водой... И даже если при этом была про-

²⁰ Шлёцер ссылается на «Письма из Парижа» (1789) немецкого педагога и журналиста И. Г. Кампе, в будущем почетного гражданина Французской Республики.

лита невинная кровь (хотя и несравненно меньше, чем пролил ее всего в одной из своих несправедливых войн грабитель и деспот Людовик XIV), то эта кровь падет на вас, деспоты, и ваши гнусные дела, которые сделали необходимой эту революцию!» (XIII, 466—468).

Это написано в декабре 1789 г. Шлёцер знает уже не только о возвращении Неккера, об отмене личных крестьянских повинностей, о «ночи чудес», о церковной реформе, о принятии Декларации прав. Он знает и о событиях 5—6 октября — насильственном переселении королевской семьи в революционный Париж — и резко осуждает их. Но это пока не меняет его общей настроенности. «Голодные бунты и акции рыбных торговков (поход женщин на Версаль. — *Е. М.*) не имеют связи с *существом* революции. Насилие, совершенное над королем в октябре, не есть часть революции. Хотя этот эпизод — будущее покажет — еще может стать фатальным и для короля и для нации. Благодаря удавшейся революции французы могут теперь создать себе наилучшую форму правления. Однако они могут перегнуть палку и в другую сторону, т. е. сделают из своего прежде неограниченного короля жалкого дожа, и в итоге, не дав себя растерзать (монархическим) львам, позволят сожрать себя (демократическому) паразиту». И тогда современники и потомки скажут, что эта нация «не была достойна совершить столь прекрасную революцию» (XIII, 468).

Заметим, что в декабре 1789 г. Шлёцер считает революцию уже «удавшейся». Очевидно, главное для него — согласие властей считаться с волей нации. При этом он еще верит, что дальнейшие разумные преобразования возможны, *несмотря* на стихийные выступления народа. То, что прямое давление народа на власть («охлократия») может только помешать разумным преобразованиям, — твердое его убеждение. Вообще, если накануне революции он видит единственное препятствие в эгоизме аристократии, то постепенно в его размышлениях выходит на первый план проблема «охлократии».

Каково отношение Шлёцера к королю? Он осуждал Людовика в июне-июле, когда тот предпочел союзу с народом союз с дворянством. Но ответственность за развал государства Шлёцер в гораздо большей степени возлагает на министров. Он скорее сочувствует Людовику, который — более жертва исторических обстоятельств, чем их создатель, невольник преемник абсолютистских традиций Людовика XIV. «О, деспотические троны! Вы порабощаете и народы, и правителей: самый мягкий друг человечества, сидящий на *таком* троне, может, должен стать тираном!» (XIII, 376—377). И далее почти трагические строки о короле: тот не желает быть равнодушным свидетелем разгорающегося пожара, но не в состоянии и погасить его.

Тон сообщений резко меняется в начале 1790 г. Шлёцер приходит к выводу, что худшие его опасения подтвердились: палка, к сожалению, перегнута в другую сторону, «революция уже не-

понятна самим ее зачинателям, свергнута в безграничную охлократию» (XIV, 50).

Приведенные слова принадлежат, очевидно, кому-то из эмигрантов. Дело в том, что с этого момента меняется и характер источников Шлёцера. «С тех пор как в прошлом году был взят штурмом Версаль, — сообщает он, — вся моя французская корреспонденция внезапно прекратилась. Теперь я, как все смертные, целиком завишу от общественного слова» (XIV, 118). Основным источником становится французская пресса, брошюры разных направлений²¹, а «живыми» корреспонденциями теперь являются только устные рассказы эмигрантов, в которых издатель стремится «передать даже сами их выражения» (XIV, 49).

В числе уехавших из Франции после октябрьских событий был как известно, и первый президент Национального собрания Мунье. Его отчет о походе на Версаль был полностью перепечатан Шлёцером и оценен им чрезвычайно высоко: «Это редкий в истории случай, когда столь важное событие воспроизведено так адекватно и опубликовано спустя всего несколько недель» (XIV, 184—222).

Эмигранты крайне мрачно описывают ситуацию в стране. Вот, например, характеристика Национального собрания, состоящего якобы из «дюжины зачинщиков, каждый из которых готов следовать по стопам Кромвеля», «пятидесяти злодеев», «двухсот мечтателей-экономистов и нелепых метафизиков и еще ста провинциальных адвокатов и сельских священников, опьяневших от чести руководить нацией». Это, по мнению рассказчика, активная часть собрания. Остальные шестьсот — наполовину «честные люди, сокращающиеся о том зле, которое творят, но и не забывающие о „патриотическом фонаре“», наполовину же — «бравые глупцы, создающие своим криком большинство диким и непрактичным проектам» (XIV, 51).

Что же это за «дикие и непрактичные проекты»? Комментарии Шлёцера становятся скупыми, выявить его собственную позицию трудно. Подбор корреспонденций свидетельствует о внимании к экономическим трудностям: закрытие мануфактур, сокращение торговли, продолжающееся обесценение денег. Главную причину этого Шлёцер усматривает в отъезде всех проживавших во Франции иностранцев и более чем 200 тыс. самих французов. Важно, считает он, и другое: «Капиталист скрывает, зарывает, замуровывает свои деньги — из страха, что кому-нибудь из его собратьев однажды захочется разделить их общее — от Адама — наследство» (XIV, 86—88).

Шлёцер стремится нащупать средний путь между традиционным, неподвижным и тупым аристократизмом и новоявленным неуправляемым и потому столь же неразумным «охлократизмом». Это отчетливо проявляется при оценке им революции в Брабанте.

²¹ См., напр., отрывки из знаменитой брошюры Камилла Демулена «Свободная Франция»: «образчик антимонархической ненависти» — так определяет ее Шлёцер (XIV, 230 и след.; XV, 500).

Принадлежащая Австрии часть Брабанта была в декабре 1789 г. силами «патриотов» освобождена от австрийских войск, император Иосиф II объявлен низложенным. Началась борьба за выбор страной нового пути. Шлёцер публикует рядом два памфлета противоположных направлений (XIV, 124 и след.) Один из них написан «старым магистратом», выступающим за абсолютность власти императора, отвергающим «химические и спекулятивные права человека», убежденным, что просвещение народам вредно («доказательством служит то, что творится именно с просвещенными народами»), и мечтающим о времени, когда правительства объединятся, «чтобы вернуть век невежества». «Не удивительно ли,— замечает Шлёцер,— столкнуться в конце 1789 г. со столь яростным апологетом тупоумия!» Следом публикуется «столь же неудачное,— по мнению Шлёцера,— предложение чисто народного правительства в Брабанте». «Народное правительство, или истинная демократия,— размышляет издатель,— есть счастливый средний путь между олигархией и оклократией. Многие народы на протяжении тысячелетий искали его, но пока не нашли». И далее, о смысле и условиях свободы, «простодушное представление о которой кружит головы бедной черни и вызывает столь многие мятежи». Свободен лишь тот, рассуждает Шлёцер, кто может беспрепятственно реализовать свои человеческие и гражданские права. Для этого потребен наделенный властью хранитель прав. «Если этот хранитель — один человек (монарх, король, герцог или кто хотите) — не выполняет условий договора и получает отставку, то должны быть поставлены другие хранители». Но ведь и они «могут нарушать договор в той же или в еще большей мере, если они, как это теперь определенно происходит во Франции, избраны одурманенной нацией? Становится ли нация свободной, если вместо одного деспота, которого она сумела сбросить со своей шеи, взваливает на себя 700 еще худших?» (Шлёцер имеет в виду Национальное собрание). В результате он недвусмысленно высказывается за монархию, в данном случае — за восстановление власти австрийского императора. Но императора, уже получившего урок революции, отказывающегося от привычной практики деспотизма.

В возможность «разумной революции» в самой Франции Шлёцер, видимо, больше не верит. Он не видит тех сил, которые могут воплотить разум в жизнь: власть короля стала призрачной с осени 1789 г.; Неккер окончательно ушел в отставку в сентябре 1790 г.; Национальное собрание оказалось во власти народной стихии. На утверждение сторонника народного правительства в Брабанте, что «народ имеет право следить за выполнением своих наказов», Шлёцер отвечает: «Но только не так, как с галерей Национального собрания в Версале и Париже ... В некоторых странах народ вообще не узнает о решениях своих представителей — неестественный и несправедливый обычай. Французское Национальное собрание, напротив, ввело в обыкновение, что народ и чернь не только присутствуют при дебатах, но даже смеют

принуждать депутатов голосовать так, как этого хочет чернь» (XIV, 152).

Разочарование Шлёцера в перспективах французской революции не осталось незамеченным в среде немецкой прогрессивной интеллигенции. В 1790—1791 гг. восторженное отношение к революции по-прежнему сохраняется в Германии. В первую годовщину взятия Бастилии в Геттингене «один немецкий поэт»²², как пишет Шлёцер, публично разорвал и растоптал выпуск Шлёцера журнала (XV, 180). Против позиции Шлёцера резко выступил К. М. Виланд в своем журнале «Немецкий Меркурий». Шлёцер получал возмущенные письма читателей.

В тот же день годовщины взятия Бастилии, 14 июля 1790 г., Шлёцер отвечает на одно из них, посланное неким P-t, французом, жителем Франкфурта-на-Майне, обвинявшим его в измене своим прежним взглядам. Этот ключевой для понимания позиции Шлёцера документ стоит привести подробно (XIV, 497—505): «Я не изменил своим взглядам на государство и права человека,— начинает Шлёцер,— я все так же за свободу и против угнетения. Я вовсе не противоречу себе прежнему и Ваше „И ты, Брут!“ целит мимо меня. Я с самого начала присоединился к почти всеобщей хвалебной песне немцев о французской революции. Даже возникавшие эксцессы, думал я, можно оправдать, а не поддающиеся никакому оправданию сцены 6 октября нужно отделять от самой революции. Столь искренне я был убежден, что дело партии народа во Франции — благое дело, общее дело человечества».

Но к началу нынешнего, 1790 г. поступили новые известия, и мы слышим теперь «долго подавляющийся и заглушавшийся другой голос, тоже голос французской нации». Он должен быть выслушан, иначе возможно «принять за всеобщее удовлетворение то, что на деле, быть может, является только всеобщим оцепенением». В результате, считает Шлёцер, все предстает в другом свете. «Бастилия была разрушена не героями, а беснующейся чернью, захвачена уже после мирной сдачи, комендант предательски убит, крепость разрушена без всякой необходимости. Жакерии (грабежи и убийства) во всем королевстве не были сдержаны теми, кто мог и должен был их сдержать, а иногда просто организованы или спровоцированы намеренно распространяемой ложью. Обнаружилась даже связь между Национальным собранием и штурмом Версаля... Естественно, что все это изменило и должно было изменить точку зрения, с которой раньше рассматривалась французская революция».

Как же теперь объясняет Шлёцер ход революции и собственные задачи публициста? «Разрушить до основания прежние нетерпимые установления,— размышляет он,— вовсе еще не значит создать новые, счастливые. Переход от деспотизма к истин-

²² Очевидно, кто-то из геттингенского поэтического Союза роции, возможно, И. Г. Фосс.

ной свободе очень опасен. История всех революций учит, что народы при этом ввергаются из одного деспотизма в другой и часто, по крайней мере на время, становятся несчастнее, чем прежде». Однако в наши дни падение из одной пропасти в другую уже не является неизбежным: тысячелетиями копившийся опыт может оградить от опасностей перехода. Долг публициста поэтому — не только приветствовать революционный народ, но и предупреждать его об ошибках и опасностях, неизбежных при подобном переходе.

«Неожиданным в теперешней революции,— продолжает Шлёцер,— по крайней мере для нашего просвещенного времени, кажется мне следующее. Некоторые люди из правящей партии сегодня говорят: „Да, мы должны были неистовствовать и лгать сами и позволять неистовствовать другим, допускать практику „фонарных столбов“, не замечать белых флагов наших противников — все это так; но без всего этого не могло бы быть проведено в жизнь великое и прекрасное дело“. Однако сегодня,— возражает Шлёцер,— великое и прекрасное дело, при ближайшем рассмотрении, оказывается весьма проблематичным. Вопрос же о том, позволительно ли для осуществления даже великого и прекрасного дела применять *такие* средства,— спорен гораздо менее».

Деятельность Национального собрания, заключает свой ответ Шлёцер, «это не что иное, как политические эксперименты, самые отчаянные, на которые когда-либо отваживался культурный народ... Мы искренне желаем, чтобы они удались и вопреки ожиданиям многих могли стать *прочными*. Мы желаем также, чтобы европейцы вообще и немцы в частности рано или поздно извлекли из этих *опытов* наивозможную пользу. Наша благодарность за это должна быть тем более обязательной и искренней, что Ваша нация берет на себя самые тяжелые издержки эксперимента».

Итак, если раньше Шлёцер считал, что предстоящая революция не имеет аналогий в мировой истории, теперь он убеждается, что она похожа на все прежние государственные перевороты: кровь, ложь, насилие, чему не место в просвещенные времена. За революцией признается Шлёцером только одно значение: это «урок всем угнетателям во всех странах мира». Что же касается самой Франции, то в своих пожеланиях он, думается, не совсем искренен: в успех революции там он уже не верит, и дальнейший ход событий только укрепит его в этом мнении.

Действительно, с этих пор он почти теряет интерес к дальнейшим событиям во Франции. Он как бы не замечает принятия конституции 1791 г., которое многим в Германии показалось «началом золотого века». Вообще не освещает борьбу революционных партий и группировок (имя Робеспьера упоминается в журнале всего один раз, мельком).

Но, раньше других осудив направление, которое приняла французская революция, Шлёцер не спешит отказываться от ее принципов. Весной 1791 г. он публикует Декларацию прав чело-

века и гражданина, сопровождая ее следующим комментарием: То, что в этой декларации есть ошибки и недостатки, несомненно. Но столь же несомненно и то, что ей суждено стать кодексом всего европейского человечества, через всеобщую культуру приближающегося к своему совершеннолетию. И рано или поздно, везде, причем без „фонарных столбов“, станут неизвестными наглость монархов и аристократов, „дикая охота“ и право „мертвой руки“, власти, обирающие своих сограждан и не подотчетные им, родовое дворянство, живущее синекурами, и т. д.» (XVI, 85–86).

Шлёцером были недовольны не только сторонники революции, но в еще большей степени ее враги. Он получал злобные анонимные письма, его обвиняли в «подстрекательстве». Одно из таких писем опубликовано в октябре 1791 г. По комментарию Шлёцера можно судить, как резко он мог иногда писать. Автор письма и подобных ему тех, кто «считает распущенностью всякую свободу печати и мысли и всякое вскрытие злоупотреблений и хочет призвать всех к порядку с помощью войск и пушек», Шлёцер клеймит как «банду». «Прежде чем эта злобная банда усилится, она должна быть разоблачена, чтобы более благородная и разумная часть нации была начеку».

Отвечая на обвинения «банды», Шлёцер снова, по пунктам, формулирует свое отношение к французской революции. «1) Французская революция была благом для всего человечества. Так, нас, немцев, она научила *практически* тому, что мы давно знали *теоретически*: неестественно, когда один знатный дурак и лентяй живет разумом и трудом сотни тружеников; привилегированный „слуга“ церкви, который не служит, не учит, не строит, а только наслаждается, не смеет отнимать кусок хлеба у действительных слуг церкви; суверен должен быть первым слугой государства... и, при всей своей неприкосновенности, должен давать отчет о своих действиях своему народу, и т. д. 2) Для Франции, где дворянство не хотело слышать о правах человека и тупо противилось своему веку, эта революция была *необходима*. Неужели немецкий писатель не смеет сказать об этом громко? 3) Нас, немцев, храни бог от *такой* революции, которая разразилась во Франции!.. Злоупотребления и несправедливость должны и могут быть устранены без революции, без *вмешательства народа*. Обнаружить их, изучить и поставить перед имперскими судами или перед судом публики — дело *писателей*» (XVI, 456 и след.).

В декабре 1791 г. был разослан циркуляр германского императора о введении строгой цензуры и конфискации революционной литературы. Затем о преследовании за подстрекательство строго предупредил своих подданных, а значит и ганноверцев, Георг III английский. В июньском (1792 г.) выпуске журнала Шлецер помещает указ шведского короля, запрещающий публиковать что-либо о французской революции (XVII. 390). Думается, таким способом он сообщал читателям о запрете собственного, английского короля.

С этого времени корреспонденции о французских событиях исчезают со страниц журнала. Несомненно, однако, что внимательный читатель мог вычитать кое-что между строк²³. Один пример. В декабрьском выпуске 1792 г. помещена небольшая заметка под невинным названием «Гомер и Аристотель, рассмотренные с политической точки зрения» (XVIII, 51—52). Это отрывок из книги Дж. Барлоу, американского поэта и государственного деятеля, «Хороший совет народам Европы». Речь в отрывке идет о том, что возвеличивание Гомером воинских доблестей предопределило склонность европейцев к войне. Но более значимо для читателей было, видимо, другое: само упоминание книги Барлоу, направленной против антифранцузского союза немецких государств.

Между тем война, объявленная в апреле 1792 г., летом началась фактически. В сентябре, как известно, была провозглашена республика и при Вальми потеряли сокрушительное поражение от французов войска коалиции. Последовала оккупация Рейнской области, были заняты Майнц и Франкфурт. В Майнце в условиях французской оккупации образуется знаменитая коммуна под руководством Г. Форстера. В то же время многие немецкие сторонники революции превращаются в ее противников. В стране начинается антифранцузская истерия, ищут и находят сочувствующих революции, повсюду обнаруживают «революционные общества». Поднимают голову те, кто был недоволен «наступлением века просвещения, когда каждому разрешается думать и писать, что он хочет». Приведенные слова взяты из подборки, опубликованной в июле 1793 г. под названием «Проклятие подстрекателям, но никакой пощады и тем, кто по всякому поводу поднимает крик о мятеже» (XVIII, 315 и след.). В подборке — длинные доносы, объяснительные записки обвиняемых, разъяснения юристов. Люди обвинялись в создании революционных организаций на основании того, что хранили книги французских просветителей или сообщали друг другу свои мысли *письменно*.

Шлёцер тяжело переживал французскую оккупацию. Его отношение к любой войне всегда было и осталось однозначным, резко отрицательным. Он не верил, что свобода может быть принесена на штыках. Он публикует заметки очевидцев о разрухе, убийствах, грабежах, пожарах, поборах французских войск. Подчеркивает стремление многих национальных гвардейцев вернуться на родину, чтобы защищать ее, а не завоевывать чужие страны (XVIII, 205).

В декабре 1792 г. он помещает обращение жителей Франкфурта к генералу де Кюстину с просьбой оставить им прежнее государственное устройство (XVIII, 96—98), называя обращение «почетным памятником немецкому образу мысли». О революционных событиях в Майнце он практически не упоминал, но его

отрицательное отношение к коммуне очевидно. Члены Майнского клуба, по его словам, были для военной администрации «всего лишь шутами» (XVIII, 574).

Его отношение к казни короля, к революционному террору столь же однозначно. Казнь Людовика XVI он назвал убийством — еще более ужасающим, чем случившееся одновременно убийство шведского короля Густава III (XVIII, 248).

Однако сдержанность, с которой Шлёцер осуждал «крайности и эксцессы» французской революции, казалась властям подозрительной. Циркулировали слухи о его «якобинизме». По рукам ходил анонимный памфлет «Санкюлотизм профессора Шлёцера». Наконец, издание журнала было остановлено: декабрьский (1793 г.) выпуск оказался последним.

Этот номер, подписанный «в последний день ужасающего 1793 года», Шлёцер закончил все тем же — призывом к немецким аристократам предупредить революцию отказом от привилегий: «Незадолго до революции французское дворянство пошло на уступки: но было уже слишком поздно. О небо, как оно раскаивается теперь в этом опоздании!» И заключал: «Мы, немцы, нуждаемся в реформах; невозможно оставаться всегда в исконном состоянии, которое есть, собственно, беспорядочная средневековая груда; но от революций храни нас бог! В них мы не нуждаемся, но можем их и не страшиться: все то, что *должно* произойти, осуществится рано или поздно в результате осторожных и мягких перемен!» (XVIII, 560).

Лишившись журнала, Шлёцер продолжал обсуждать уроки революции на своих университетских лекциях. По Германии разносились слухи о геттингенских профессорах — «якобинцах и санкюлотах»²⁴. Представление о лекциях Шлёцера дает запись Александра Тургенева, сделанная много позже, в 1803 г. После того как Шлёцер, записывает Тургенев, «допускал самые бунты, в случае если тиранство обнаружится, позволял даже народу наказывать за вину — казнить своего государя; после всего этого ... успокоил он кротких из своих слушателей, сказав, что хотя страждущие от тиранства подданные имеют право на революцию и право ссадить своего тирана, но что действие сие сопряжено всегда с такою опасностью, что лучше оставить и терпеть до тех пор, пока провидение само захочет освободить народ от железного скипетра. Сколь далеко ни простирается история, везде почти показывает она, что, хотя мятежи кой-когда и удавались, всегда почти приносили они с собою больше пагубы и бедствий для народа, нежели сколько бы претерпел он, снося тиранские действия. При всем том неизвестно ни одного народа в истории — ни в Европе, ни в Азии, который бы не ссаял когда-нибудь своих государей, несмотря ни на ослепление, ни на предрассудки, ни на мнения... и самое, наконец, *origo majestatis a Deo* (происхож-

²³ Г. Мюльфорт верно отмечает, что Шлёцер охотно и умело пользовался «эзоповым языком». См.: *Mühlfordt G. Op. cit. S. 56.*

²⁴ *Warlich B. Op. cit. S. 85 ff.*

дение власти от бога.— *Е. М.*) превратилось в *origo majestatis a populo* (происхождение власти от народа.— *Е. М.*)»²⁵.

Какие выводы можно сделать из всего изложенного? Представляется очевидным, что Шлёцера неверно считать консерваторм. Но и говорить о революционной сущности его взглядов тоже было бы необоснованным. Несомненно, что Шлёцер не желал революций, в их реальном виде, и не считал их в разумном человеческом обществе неизбежными. Наиболее правдоподобным оказывается все же взгляд на Шлёцера как на предшественника либерализма.

Но здесь важно одно обстоятельство. «Либерализм», так же как «демократизм» и «консерватизм», — явление, только рождавшееся в ходе французской революции и сформировавшееся лишь в XIX в. Не вернее ли будет заключить, что Шлёцер остался перед лицом новой исторической реальности — просветителем?

Этот вывод, скорее всего, покажется весьма разочаровывающим. Тем не менее Просвещение как мировоззрение действительно исчезает в XIX в. Мировоззрение, которому органически присуще недоверие к позитивным возможностям стихийного массового движения. В котором мирно уживались надежды на преобразовательную деятельность монарха со стремлением к революции. Но революции в специфически просветительском понимании — как победы разума над обычаем, как заключения справедливого общественного договора, установления гражданского мира между сословиями. Такому мировоззрению чуждо представление о классовой борьбе как естественном механизме движения общества, и, думается, оставаясь в рамках этого мировоззрения, нельзя к такому представлению даже «приближаться».

На примере Шлёцера можно еще раз вернуться к вопросу, поставленному А. Собоулем: почему дожившие до революции просветители, обосновывавшие революцию теоретически, на деле, как правило, не приняли ее? ²⁶ Собоуль обнаруживает «кричащее противоречие» между революционными взглядами просветителей и их конформистским жизненным поведением, приходит к выводу о «двойственности» их сознания. Несколько огрубляя его мысль, можно понять это так, что просветители мыслили уже «по-нашему», революционно, действовали же согласно привычным и удобным для них обычаям Старого порядка. Представляется, что это не так, что они и мыслили «не по-нашему». Думается, что просветители, и французские и немецкие, не смогли принять реальную революцию прежде всего теоретически, и сделать это им помешала не двойственность, а именно цельность их сознания. Приветствуя революцию вначале, они приветствовали *другую*,

свою революцию. Реальная оказалась не соответствующей образцу.

Вспомним Георга Форстера. Человека, биография которого, казалось бы, опровергает этот взгляд. Почти хрестоматийный образ: знаменитый просветитель, затем не менее знаменитый «немецкий якобинец». Но вчитаемся в его «Парижские письма». Неодвластность революции разуму — все же самое тяжелое его впечатление. Он постоянно возвращается к этому моменту. Он признает определяющую роль в революции мироощущения широких народных масс («воли народа», «общественного мнения»), он убеждает своих соотечественников в справедливости, вернее, в единственной возможности такого хода событий. Но не себя ли самого он так настойчиво убеждает? Революцию «нельзя ограничить и упорядочить по правилам, установленным разумом, а нужно предоставить события их собственному течению». Движущая сила ее — «отнюдь не чисто интеллектуального, не чисто разумного свойства; это грубая сила массы». Разум лишь «частично определяет ее направление, но получить в ней преобладания он никак не может». «Низвергаясь, подобно снежной лавине, с возрастающей быстротой», революция «непрерывно растет и уничтожает на своем пути все преграды», и Свет разума струит свои лучи лишь в том направлении, в каком воля народа «разрешает им струиться». «Горе немецкому Неккеру, который вздумал бы в Германии развязать эту силу и привести ее в движение!.. Этого в настоящее время может желать только враг рода людского»²⁷. Преобладание стихии над разумом мешает Форстеру внутренне полностью принять революцию. Тем не менее он считает бессмысленным «сетовать» на нее, надеется, что разум сможет «догнать» стихию»²⁸.

Я отдаю себе отчет в том, что такая трактовка образа Форстера противоречит общепринятой²⁹, но она представляется мне заслуживающей рассмотрения. В судьбе его можно увидеть драматическую попытку преобразования собственного мировоззрения. Причем оказывается, что мыслить по-новому ничуть не менее сложно, чем по-новому действовать. Думается, что именно в случае Форстера можно говорить об определенной двойственности сознания, крайне мучительной для него. Не исключено, что причиной смерти его в 1794 г. могло явиться не в последнюю очередь трагическое несогласие с самим собой.

Со Шлёцером этого не произошло. Он и интересен нам как один из «последних могокан» просветительского мироощущения, не потерявший его до конца своей жизни.

²⁷ Форстер Г. Избр. произведения. М., 1960. С. 561—566.

²⁸ Там же. С. 562.

²⁹ См., напр.: Scheel H. Die Begegnung deutscher Aufklärung mit der Revolution. Berlin, 1973.

²⁵ Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. Вып. 2. С. 240. Вряд ли Шлёцер позволял казнить государей, он, скорее всего, лишь напоминал об этой возможности.

²⁶ См.: Собоуль А. Философы и Французская революция // Французский ежегодник, 1982. М., 1984. С. 138—150.